



ИСАЙЯ БЕРЛИН

Ёж и лис. Эссе о взглядах Толстого на историю

<Фрагменты>

Среди фрагментов греческого поэта Архилоха есть строка¹, которая гласит: «Лис знает много секретов, а еж один, но самый главный». Ученые по-разному толкуют этот не слишком ясный по смыслу отрывок, который может описывать всего лишь навсегда тот факт, что лис, при всей его хитрости, не справится с одним-единственным оборонительным трюком ежа. Однако, если воспринимать эту фразу фигуративно, в нее можно вложить смысл, который сделает явственным одно из глубочайших различий между писателями, мыслителями, а то и вообще между людьми — между теми, кто все и вся соотносит с некой ключевой точкой зрения, с одной более или менее последовательной и ясно выраженной системой, исходя из которой воспринимает мир, мыслит и чувствует, с единым, универсальным, всеобъемлющим первопринципом, который, собственно, и придает смысл всему, что они говорят и делают, — и теми, кто способен одновременно заниматься многими предметами, зачастую не имеющими друг к другу никакого касательства, а то и вовсе противоположными, связанными между собой разве что *de facto*, в силу сугубо ситуативных психологических или физиологических причин, и не имеющими отношения к единым нравственным или эстетическим принципам. Между такими людьми лежит глубокая пропасть. Те, кого я описал последними, совершают поступки, пестуют идеи и проживают жизнь скорее центробежную, нежели центростремительную; их мысль разбросанна и рассеянна и работает сразу на нескольких уровнях, ухватывая суть огромного количества разрозненных переживаний и предметов и не пытаюсь, осознанно или бессознательно, приспособить каждый такой предмет или исключить его из общей, всеохватной, порою

противоречивой и неполной, подчас до фанатизма доходящей, но единой внутренней системы виденья. Первый тип мыслящей и творческой личности — ежи, второй — лисы. Не настаивая на жесткой классификации и не слишком опасаясь впасть в противоречие, мы можем сказать, что в этом смысле Данте принадлежит к первой категории, Шекспир ко второй; Платон, Лукреций, Паскаль, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст — в какой-то степени ежи; а Геродот, Аристотель, Монтень, Эразм, Мольер, Гёте, Пушкин, Бальзак и Джойс — лисы.

Конечно, как и все элементарные классификации, данная дихотомия, если ее довести до логической точки, становится искусственной, начетнической и в конце концов просто абсурдной. Но, пусть она и не выдерживает сколь-нибудь серьезной критики, отвергать ее на том простом основании, что она поверхностна и легковесна, тоже не стоит; если способ разграничения достоверен хотя бы отчасти, он предложит некую потенциально возможную точку зрения, точку опоры для того, кто намерен наблюдать и сравнивать, отправной пункт для добросовестного исследования. Так, мы ни на секунду не сомневаемся, что Пушкин и Достоевский — совершенно разные; и при всей проникновенности и глубине знаменитой речи Достоевского, навряд ли хотя бы для единственного чуткого читателя она смогла пролить свет на пушкинский гений. Скорее она высветила гений самого Достоевского, именно потому, что тот преподносит Пушкина — величайшую лисицу XIX столетия — как личность, подобную ему самому, ежу до мозга костей; и тем самым перевоссоздает его образ, рождая искаженное представление о Пушкине-пророке, несущем миру уникальную, универсальную весть, столь важную для Достоевского и невероятно далекую от многообразного и текучего пушкинского дарования, обращенного разом на все стороны света. Мысль о том, что всю русскую литературу можно означить двумя гигантскими фигурами — на одном полюсе Пушкин, на другом Достоевский, — не так уж абсурдна; и всякий, кто ради пользы дела или просто для удовольствия задается такими вопросами, вправе оценивать и сравнивать русских писателей в зависимости от их соотношения с этими двумя великими противоположностями. Сопоставление Гоголя, Тургенева, Чехова, Блока с Пушкиным и с Достоевским приводит — или, по крайней мере, приводило — к весьма плодотворным и ярким наблюдениям. Но стоит нам только дойти до графа Льва Николаевича Толстого и спросить себя, принадлежит ли он к первой категории или ко второй, монист он или все-таки плюралист, облада-

тель единого виденья или человек, способный охватить великое множество разнообразных точек зрения, создан он из неделимой субстанции или составлен из разнородных элементов, — немедленного или хотя бы сколь-нибудь ясного ответа мы не получим. Вопрос в данном случае кажется не совсем уместным; он создает больше сложностей, нежели разрешает. Однако мешает нам не отсутствие сведений. Толстой поведал о себе, о своих взглядах и методах больше, чем любой русский, и едва ли не больше, чем любой европейский литератор. Ни в одном из принятых смыслов его книги нельзя назвать малопонятными — в его вселенной нет темных углов, рассказанные им истории буквально залиты ярким солнечным светом; он объяснял и их, и самого себя, спорил о них и о методах, при помощи которых они созданы, куда выразительней, разумней, трезвее и яснее, нежели какой-либо другой писатель. Так лис он все-таки или еж? Почему на удивление трудно найти ответ на этот вопрос? Кого он больше напоминает — Шекспира и Пушкина или же Данте и Достоевского? А может, он совершенно не схож ни с тем, ни с другим типом, и вопрос, таким образом, попросту снимается? В чем суть вставшего у нас на пути таинственного препятствия?

В этом эссе я вовсе не намерен формулировать ответ на поставленный вопрос, поскольку тогда пришлось бы критически пересмотреть все литературное и философское наследие Толстого. Ограничусь предположением, что трудность, по крайней мере — отчасти, может состоять в том, что Толстой и сам в какой-то мере осознавал эту проблему и приложил максимум усилий к тому, чтобы сфальсифицировать ответ. Гипотеза, которую я хочу предложить, состоит в том, что по природе Толстой был лис, но искренне считал себя ежом; что его дар и его творческие достижения одно, а его убеждения и, соответственно, его толкование собственных творческих достижений — совсем другое; и что именно поэтому его идеалы вынудили и его самого, и тех, кого покорила свойственный ему дар убеждения, снова и снова ложно толковать то, что он или другие делали или должны были делать. Он не скрывал своей позиции, и всякий его читатель может лично в том убедиться: его взглядами на этот предмет буквально пропитаны все его высказывания от первого лица — дневники, собранные и записанные *obiter dicta* (замечания, высказывания, фразы (*лат.*)), автобиографические эссе и повести, социальные и религиозные трактаты, критические статьи, частные и открытые письма. Но нигде конфликт между тем, что он из себя представлял, и тем, что о себе думал, не виден настолько отчет-

ливо, как в его взглядах на историю, которым он посвятил многие из самых блестящих и самых парадоксальных страниц. Это эссе — попытка разобраться в его исторических доктринах и выявить как мотивы, по которым он придерживался тех или иных взглядов, так и некоторые из его возможных источников. Проще говоря, я попытаюсь принять толстовское отношение к истории с той же серьезностью, которую он сам пытался внушить своим читателям, хотя и в силу совершенно иных резонов — ради света, который оно проливает на одного-единственного гениально одаренного человека, а не ради заботы о судьбах человечества.

<...>

Интерес к истории пробудился у Толстого достаточно рано. Возник он, кажется, не из интереса к прошлому, но из страстного желания добраться до первопричин, понять, как и в силу чего все складывается так, а не иначе, из недовольства теми общепринятыми объяснениями, которые в действительности ничего не объясняют и оставляют разум неудовлетворенным, из склонности сомневаться, ставить под подозрение и, при необходимости, отвергать все то, что не дает полного ответа на поставленный вопрос, во всем доходить до самого основания, любой ценой. Данное свойство было присуще Толстому на протяжении всей его жизни, и навряд ли его можно счесть симптомом «штукарства» или «поверхностности». Ему соответствовала неизлечимая любовь к конкретному, эмпирическому, доказуемому при инстинктивном недоверии к абстрактному, неосязаемому, сверхъестественному — короче говоря, рано проявившаяся склонность к научному и позитивистскому подходу, чуждому романтизма, абстрактных формулировок и метафизики. Всегда и при любых обстоятельствах он искал «твердых» фактов — доступных и доказательных для нормального интеллекта, не испорченного путаницами, оторванными от осязаемой реальности теориями или некими потусторонними таинствами, не важно, теологическими, поэтическими или метафизическими. Он мучился последними вопросами, с которыми сталкиваются молодые люди в каждом новом поколении, — о добре и зле, о происхождении и предназначении вселенной и ее обитателей, о причинах всего сущего; но ответы, предлагаемые теологами и метафизиками, казались ему абсурдными, хотя бы по причине того языка, на котором они были сформулированы, — языка, не имевшего, судя по всему, никакого касательства до повседневного существования обычного здравого смысла, а за здравый смысл он упрямо держался обеими руками как за единственную возможную реальность даже

и задолго до того, как понял, что он, собственно, делает. История, и только история, только сумма конкретных событий, происшедших в определенном месте в определенное время, — сумма реального опыта реально существовавших людей в их отношении друг к другу и к трехмерному, эмпирически воспринимаемому физическому миру! Только здесь и следует искать строительный материал для настоящих ответов, которые понятны и без каких-то особенных чувств или качеств, не свойственных обычным людям.

Это, конечно же, тот самый дух эмпирического исследования, который воодушевлял мыслителей XVIII столетия, противившихся теологии и метафизике. Толстовский реализм, толстовская неспособность уверовать в призраков сделала его их естественным преемником прежде, чем он успел ознакомиться с их доктринами. Подобно г-ну Журдену, он говорил прозой задолго до того, как узнал об этом, и оставался врагом отвлеченностей от начала и до конца своих дней. Пора его становления пришлась на самый расцвет гегельянской философии, которая пыталась объяснить все и вся через соотнесенность с категорией исторического развития, выводя, однако, способ познания самого этого процесса за рамки эмпирических методов. Свойственный эпохе историцизм, несомненно, влиял на молодого Толстого, как и на всякого думающего человека, но метафизическая начинка вызывала в нем инстинктивное отторжение, и в одном из своих писем он назвал труды Гегеля неудобопонимаемой чушью, обильно одобренной общими местами. Только история — сумма поддающихся эмпирической проверке данных — содержит ключ к тайне: отчего то, что случилось, случилось именно так и не иначе; и, соответственно, только история может пролить свет на основные этические проблемы, столь важные для него, как и для любого русского мыслителя XIX века. Что делать? Как жить? Почему мы существуем? Чем должны мы стать и чем заниматься?

<...> Подобно Марксу² (о котором во время работы над «Войной и миром» он, судя по всему, даже и не слышал), Толстой ясно понимал, что, стань история наукой, появится возможность открыть и сформулировать систему истинных исторических законов, которые в сочетании с данными эмпирического наблюдения позволят предсказывать будущее (и задним числом угадывать прошлое) столь же точно, как в геологии или астрономии. Однако куда яснее Маркса и его последователей он осознал фактическую неудачу предпринятой попытки и сам об этом говорил

с привычным чистосердечием догматика, подкрепляя свой тезис аргументами, нарочно выстроенными так, чтобы лучше показать, что достичь поставленной цели невозможно; а затем окончательно решил исход дела, заметив, что осуществление данной мечты положило бы конец человеческой жизни в том виде, в котором мы до сих пор ее наблюдали: *«Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни (т. е. спонтанной деятельности, включающей сознание свободы воли)»*³.

Но угнетала Толстого не только «ненаучная» природа истории — то обстоятельство, что, какие бы скрупулезные методы мы ни применяли при историческом исследовании, открыть сколь-нибудь надежные законы, основу основ и самой неразвитой из естественно-научных дисциплин, все равно не удастся. Размышляя дальше, он дошел до мысли, что не сможет оправдать в собственных глазах произвольного, судя по всему, выбора материала и не менее произвольной расстановки акцентов, свойственной всем историческим исследованиям. Факторы, определяющие жизнь человечества, жалуется он, весьма многочисленны и разнообразны, историки же склонны выбирать из них какой-либо единственный аспект, скажем — политический или экономический, и представлять его как основной, как действительную причину общественных изменений. Куда же в таком случае девать религию, куда девать «духовные» факторы и поистине неисчислимое множество иных аспектов, которые так или иначе проявляются во всех исторических событиях? Как не согласиться с Толстым, с точки зрения которого существующие исторические системы представляют «возможно, не более 0,001 процента элементов, действительно составляющих настоящую историю народов»? История в ее привычном виде обычно представляет «политические» — то есть публичные — события как наиболее важные, в то время как духовные — «внутренние» — события по большей части остаются в тени; но, скорее всего, именно они, «внутренние» события, составляют самый реальный, самый непосредственный пласт настоящей жизни. Из них, и только из них, в сущности, она состоит; следовательно, авторы привычных трактатов по истории несут пустопорожнюю чушь.

На протяжении 1850-х годов Толстой был одержим идеей написать исторический роман, и одной из основных целей в данном случае было столкнуть «реальную» жизненную ткань, как индивидуальную, так и общественную, с «нереальной» картиной, рождающейся под пером историков. На страницах «Войны

и мира» мы раз за разом наталкиваемся на жесткое противопоставление «реальности» — того, что действительно произошло, — опосредующей и искажающей эту реальность субстанции, сквозь которую она пропущена, чтобы предстать перед публикой в официальных отчетах или даже в воспоминаниях непосредственных участников событий, поскольку исходные впечатления уже прошли контроль предательского рассудка (да, именно предательского — ведь он автоматически рационализирует и формализует сведения). Героев «Войны и мира» Толстой постоянно помещает в такие ситуации, в которых все это особенно ясно.

<...> В знаменитом пассаже о Москве 1812 года Толстой замечает, что героические свершения России после пожара наводят на такой вывод: ее обитатели были все до единого вовлечены в непрекращающееся самопожертвование — спасали свою страну или оплакивали ее тяжкую долю, совершали подвиги, шли на мученичество, впадали в отчаяние; а на самом деле они были заняты своими, частными нуждами. Те, кто был погружен в обыденные дела, не испытывая героических чувств и не числя себя актерами на ярко освещенной авансцене истории, оказались более всего полезны для своей страны и для ближних, те же, кто пытался понять общий ход дел и жаждал сыграть свою роль в истории, кто совершал акты немыслимого самопожертвования или героизма и принимал участие в грандиозных событиях, были всего бесполезнее. Хуже всего, с точки зрения Толстого, те неуемные болтуны, которые обвиняли друг друга в том, «в чем никто не мог быть виноват», поскольку «в исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»⁴. Пытаясь «понять» что бы то ни было рациональными средствами, мы обрекаем себя на поражение. «Потерявшись» на Бородинском поле, Пьер Безухов пытается найти что-то напоминающее заранее спланированный спектакль, какой он представлял себе раньше; битву, как ее изображают историки и художники. Но находит только обычную сутолоку людей, хаотически влекомых теми или иными человеческими потребностями. В этом, по крайней мере, есть конкретность, не замутненная теориями и абстрактными понятиями; и Пьер, таким образом, ближе к пониманию истинного положения вещей — по крайней мере, с человеческой точки зрения, — чем те, кто считает необходимым

подчиняться какому-либо своду рационально постижимых законов или правил. Пьер видит только череду «случайностей», чьи причины и следствия по большей части не обнаружимы и непредсказуемы; и какая-то зыбкая структура формируется сама собой, безо всякой видимой закономерности, из слабо связанных между собой событийных цепочек. Всякая попытка выявить систему, подходящую под «научные» формулы, ложна по определению.

Самые горькие свои насмешки, самую ядовитую иронию Толстой приберег для тех, кто выступает в роли официально признанных специалистов, разрешающих стоящие перед народами проблемы, в данном случае — для западных теоретиков военного дела, генерала Пфуля или генералов Бенигсена и Паулуччи, которые несут вздор на Дрисском совете, вне зависимости от того, защищают они стратегическую или тактическую доктрину или опровергают; эти люди не могут быть никем иным, как самозванцами, поскольку ни одна теория не охватит бесчисленных форм возможного поведения, необозримого множества мельчайших, непредсказуемых причин и следствий, именно и формирующих ту систему взаимодействия человека с природой, на описание которой претендует история. Тот, кто претендует на умение втиснуть это бесконечное разнообразие в некие «научные» рамки, — либо шарлатан, либо слепец, ведущий слепого. Самые резкие суждения припасены для главного теоретика, для великого Наполеона, который действует и других гипнотически убеждает в том, что он действует, понимая и контролируя события, ибо силой божественного своего интеллекта, или чутьем, или по каким-то иным неведомым причинам обладает способностью давать правильные ответы на каждый поставленный историей вопрос. Чем больше претензий, тем больше лжи; соответственно, Наполеон — самый жалкий, самый презренный из всех актеров, играющих в этой великой трагедии.

В этом и заключается великая иллюзия, которую Толстой задался целью выставить на свет Божий, — иллюзия того, что всякий отдельно взятый индивид может, опираясь на свои собственные возможности, осознавать и контролировать ход событий. Те, кто в этом уверен, жестоко заблуждаются. А рядом с личинами, надетыми на потребу публике, с полыми людьми, наполовину заблуждающимися, наполовину сознающими собственное мошенничество, которые говорят и пишут отчаянно, бесцельно, чтобы поддержать мир кажимостей и избежать мрачных истин; бок о бок с этой хитро выстроенной машинерией, скрывающей обманное зрелище человеческой немощи, несообразности и сле-

поты, лежит реальный мир, поток жизни, доступной пониманию человека, если только он внимателен к обыденным деталям повседневного существования. Когда Толстой сопоставляет реальную жизнь — действительный, каждодневный, «живой» опыт отдельных людей — с наколдованным историками панорамным виденьем, у него не возникает сомнений в том, где здесь реальность, а где пусть связная, пусть — иногда — элегантно выстроенная, но неизменно фиктивная конструкция. Толстой и Вирджиния Вулф — очень разные писатели и люди, они не похожи почти ни в чем, но, кажется, именно он впервые сформулировал то знаменитое обвинение, с которым полвека спустя она обрушилась на пророков своего поколения — Шоу, Уэллса, Арнольда Беннетта — слепых материалистов, которые так и не поняли, из чего состоит настоящая жизнь, так и не отвыкли подставлять самые внешние и случайные ее проявления, тривиальнейшие аспекты, почти не затрагивающие человеческую душу, — социальные, экономические, политические реалии — вместо единственно истинной материи, индивидуального опыта, особой системы отношений, цвета, запаха, вкуса, звуков и движений, ревности, любви, ненависти, страстей, редких озарений, еще более редких минут, когда человек внутренне преображается, простой и обыденной последовательности лично значимых данных, из которых, собственно, и состоит все на свете.

Что же тогда должен делать историк? Описывать окончательные данные субъективного опыта, личную жизнь частных людей, те «мысли, науку, поэзию, музыку, любовь, дружбу, ненависть, страсти», из которых, согласно Толстому, складывается «реальная» жизнь⁶, — и только? Именно к этому Тургенев постоянно призывал и Толстого, и всех остальных, но его в особенности, поскольку здесь речь шла об истинном гении, обреченном стать величайшим русским писателем; именно это Толстой отвергал с яростью и возмущением даже в середине жизни, до наступления последней, религиозной фазы. Вместо того чтобы ответить на вопрос о природе вещей, о том, как и откуда вещи берутся и как исчезают; это, по мнению Толстого, отторгает от реальности, подавляет желание докопаться до того, как люди живут в обществе, как и с какой целью они воздействуют друг на друга и на окружающую жизнь. Такой писательский пуризм — в те дни главным проповедником его был Флобер, — такая сосредоточенность на опыте, отношениях, проблемах и внутренней жизни индивида (позже ее проповедовали и осуществляли Андре Жид⁷ и находившиеся под его влиянием литераторы во Франции и в Англии)

казались ему и банальными, и фальшивыми. Он не сомневался ни в том, что сам в высочайшей степени одарен именно этой способностью, ни в том, что именно по этой причине многие им восхищаются; и отрицал ее без оговорок.

В письме, написанном во время работы над «Войной и миром», он печально признавал: да, конечно, публика прежде всего оценит вышедшие из-под его пера сцены общественной и частной жизни, его дам и господ, со всеми их мелкими интригами, увлекательными беседами, великолепно подмеченными маленькими странностями. Но это всего лишь тривиальные «цветы» жизни, а не ее «корни». Цель Толстого — обнаружить истину, а потому он должен знать, из чего состоит история, и воссоздавать именно эту, первичную материю.

<...> Неразрешенный конфликт между верой Толстого в то, что реальны только атрибуты частной человеческой жизни, и его доктриной о том, что их анализ не может объяснить исторического процесса (то есть поведения человеческих сообществ), на более глубоком, личностном уровне параллелен внутреннему конфликту между его исключительной одаренностью и его идеалами, которым он неизменно хотел соответствовать и уж точно верил в них.

Позволю себе еще раз напомнить о нашем разделении писателей на лисов и ежей: Толстой воспринимал реальность во всей ее множественности, как собрание отдельных сущностей, которое он обозревал и в которое проникал с беспримерной остротой и ясностью видения, но верил он только в одно огромное, универсальное целое. Ни один писатель из живших на земле до и после Толстого не проникал с такой силой в многообразие жизни — различия, контрасты, столкновения людей, вещей и ситуаций. Каждую отдельную коллизию он воспринимал в абсолютной ее уникальности и передавал с такой прямоотой и точностью конкретного образа, какая никому еще не удавалась. Еще никто не превзошел Толстого в том, чтобы передать особый букет, алгебраически точный состав чувства, все степени его «мерцания», его приливов и отливов, мельчайших движений (Тургенев высмеивал подобные «фокусы»), внутреннюю и внешнюю текстуру, само ощущение взгляда, мысли, эмоции; как и в том, чтобы схватить специфику ситуации или целого периода в жизни людей, семей, сообществ и наций. Прославленное жизнеподобие каждой вещи и каждой личности в его мире происходит от удивительной способности представлять буквально все в самой полной его сущности, во всех многочисленных измерениях.

Толстой показывает нам не какой-то сколь угодно яркий предмет в потоке сознания, не размытый контур, не силуэт, не призрак, не впечатление, не функцию восприятия, апеллирующую к читателю и от читателя зависимую, но едва ли не твердое тело, наблюдаемое и с ближней, и с дальней дистанции, при естественном, дневном освещении, под всеми возможными углами зрения, в совершенно особенном пространственном и временном контексте. Событие это в полной мере значимо для чувств и для воображения, во всех его гранях, при четкой и резкой артикуляции каждого нюанса.

Предмет его веры — совершенно другой. Он стремился к единому всеохватному видению; проповедовал не разнообразие, но простоту, не многочисленность уровней сознания, но сведение их к единому уровню: в «Войне и мире» — к стандарту доброго человека, одинокой, стихийной, открытой души; в более позднее время — к крестьянскому стандарту или к простейшей христианской этике, очищенной ото всякой теологии и метафизики; к простому, как бы насущному критерию, при помощи которого можно прямо увязать все на свете и всякую вещь определить через другую, применив к ней одну и ту же простую мерку. Гений Толстого — в таинственной способности точно воспроизводить невоспроизводимое, едва ли не волшебным образом вызывать к жизни совершенную, не переводимую ни на один язык индивидуальность уникального, отчего у читателя рождается острое ощущение, что все это существует, присутствует, а не просто описано. Для этой цели он использует метафоры, в которых фиксируется конкретное качество переживаний, и старательно избегает широких понятий, соотносящих что-то конкретное с близким по смыслу, не замечая индивидуальных различий — «мерцания» чувств — ради общего знаменателя. И этот же самый писатель вдруг требует прямо противоположного, и не просто требует — ударяется в гневную проповедь, особенно в поздней, религиозной фазе своей жизни. Он хочет, чтобы мы отказались от всего, что не подходит под очень общий, очень простой стандарт: скажем — под то, что нравится или не нравится крестьянам, или под евангельские представления о добре.

Отчаянное противоречие между сведениями, почерпнутыми из опыта, от которых он не мог освободиться и за которыми, конечно, всю свою жизнь признавал первородное право на реальность, и глубоко метафизической убежденностью в существовании системы, в которую они должны укладываться, хочется им того или нет; конфликт между инстинктивным суждением и тео-

ретической убежденностью — между его дарованием и его мнениями — отражает конфликт между реальностью нравственной жизни, с присущими ей ответственностью, радостями, горестями, чувством вины и чувством успеха — все сплошь одни иллюзии, — и законами, царящими надо всем, пусть даже нам доступна лишь ничтожно малая часть знания о них. Ученые и историки, которым кажется, будто они их знают и руководствуются ими, попросту лгут и изворачиваются — но тем не менее только эти законы и реальны. По сравнению с Толстым Гоголь и Достоевский, чью «ненормальность» так часто противопоставляют толстовской «вменяемости», выглядят весьма цельными личностями, с последовательным мировоззрением и внутренне единой системой представлений. Однако именно из этого отчаянного внутреннего конфликта выросла «Война и мир». Великолепное единство этого текста не должно нас обманывать; как только Толстой вспоминает или забывает забыть о том, что и зачем он делает, открывается зияние.

<...> Что же открывают для себя Пьер, князь Андрей, Левин? Чего они ищут, где центр и суть того духовного кризиса, который разрешается обретением некоего опыта, преобразившего жизнь для каждого из них? Не в том, что они поймут, насколько малую толику великой общности законов и фактов, известных идеальному наблюдателю Лапласа⁸, могут они воспринять; не в том, что они, как Сократ, признают свое неведение⁹. Еще меньше это связано с противоположным полюсом — новой, более обоснованной уверенностью в существовании «железных законов», управляющих нашей жизнью, с представлением о природе как о машине или о фабрике, как у великих материалистов, Дидро, Ламетри¹⁰, Кабаниса¹¹, или же ученых середины XIX века, выведенных Тургеневым в «Отцах и детях» в образе «нигилиста» Базарова; а уж тем более — с неким нездешним чувством невыразимого единства всего сущего, о котором всегда и везде свидетельствовали поэты, мистики и метафизики. И тем не менее они что-то поняли, что-то увидели или, по крайней мере, заглянули в запредельность, их посетило откровение, способное в каком-то смысле примирить человека с миром и объяснить суть вещей, разом и оправдывая происходящее, и его толкуя. Из чего оно состоит? Толстой не оставил нам сколь-нибудь подробного объяснения; когда в более поздних, откровенно дидактических текстах он берется растолковать, в чем дело, его собственная точка зрения уже успевает претерпеть существенные изменения. Однако ни один из читателей «Войны и мира» не может остаться

в полном неведении; как-то он да поймет заложенную в тексте весть. Мы говорили не только, и даже не столько, о сценах, где участвуют Кутузов или Каратаев, и о других квазитеологических и квазиметафизических пассажах, сколько о нарративной, нефилософской части эпилога, где Пьер, Наташа, Николай Ростов и княжна Марья показаны в новой, спокойной и основательной жизни со строго размеренным течением ежедневных надобностей и дел. Нас прямо подталкивают к мысли, что эти герои романа — «добрые люди» — достигли теперь, после десятка с лишним лет, проведенных в бурях и горестях, своего рода внутренней умиротворенности, основанной на некоем понимании. Что же они понимают? С чем они смирились? Не просто с волей Божьей (во всяком случае, в те годы, когда писались великие толстовские романы) и не с «железными законами» наук, но с непрерывным взаимодействием вещей в окружающем мире, с единой тканью человеческой жизни, поскольку справедливость и истину только и можно сыскать через «естественное» — почти в аристотелевском смысле — знание.

Сделав это, в первую очередь, постигаешь пределы, положенные человеческой воле и человеческому разуму. Как происходит такое постижение? Не через какое-то особенное исследование или открытие, но через уверенность, не всегда явную или осознанную, в некоторых общих свойствах человеческой жизни. А самое важное и повсеместно значимое из этих свойств — в том, что «поверхность» четко отделена от «глубин». По одну сторону черты остается мир эмпирически воспринимаемых, подлежащих описанию и анализу данных, как физических, так и психологических, как «внешних», так и «внутренних», как общественных, так и лично значимых, с которыми имеют дело науки, пусть даже только в тех областях, которые не входят в компетенцию физики, поскольку наукам до сей поры удалось ничтожно мало. По другую же сторону — тот порядок, который, по сути, и определяет структуру нашего опыта, ту систему, в которой он — то есть мы сами и все, что мы испытываем, — должен восприниматься как изначально заданный.

<...> Чему в конце концов научился Пьер, с чем примирилась княжна Марья, выйдя замуж, чего так отчаянно искал всю жизнь князь Андрей? Подобно блаженному Августину, Толстой может сказать об этом, только отталкиваясь от противоположного. Гений его по природе разрушитель. Он может указать дорогу к цели, лишь выставив и высмеяв все ложные указатели; вычленив правду, уничтожив все то, что неистинно, то есть все то, что можно про-

говорить ясным аналитическим языком, который соответствует слишком ясному, но неизбежно ограниченному лисьему зрению. Подобно Моисею, он вынужден остановиться у самых границ Земли Обетованной. Без нее его путь лишился бы смысла, но он не может ступить в ее пределы; и все же знает, что она есть, и может рассказать нам о ней так, как никто еще не рассказывал. Собственно, рассказывает он обо всем, чего в ней нет, а нет в ней прежде всего ничего такого, чего можно добиться средствами искусства, или науки, или рациональной критики, или цивилизации вообще.

<...> Толстой начинал со взглядов на жизнь и на историю, которые противоречили всему, что он знал, природе его дарования, всем его намерениям и склонностям, а потому нельзя сказать, чтобы он применил эти взгляды на практике как писатель или как человек. Ближе к старости он избрал совершенно иной способ жизни, пытаясь разрешить откровенное противоречие между тем, во что он действительно верил, и тем, во что он думал, что верит, или пытался верить, выстраивая свое поведение таким образом, словно реально стоящие перед ним вопросы — не фундаментальные, а всего-навсего обыденные, бытовые проблемы пустячной, без смысла и плана прожитой жизни, тогда как проблемы настоящие формулируются совершенно иначе. Но толку из этого не вышло, музу не обманешь. Из всех человеческих качеств поверхностность была меньше всего присуща Толстому, он просто не мог спокойно плыть по течению, его неудержимо влекло в глубину, исследовать зияющие внизу провалы. Не мог он и не видеть того, что видел, и не сомневаться в увиденном; он мог закрыть глаза, но забыть о том, что закрыл их по собственной воле, он был не в состоянии. Его потрясающее, разрушительное чутье свело на нет все его поздние попытки обмануть себя самого, правда, как и ранние. Умер он в муках, раздавленный грузом собственной добросовестности и чувством неизменной нравственной ошибочности собственных действий, и остался величайшим из всех, кто так и не смог ни разрешить, ни оставить в покое конфликт между тем, что есть, и тем, как должно быть.

Толстовское чувство реальности было до самой его смерти слишком опустошительным, чтобы ужиться с каким бы то ни было нравственным идеалом, который он смог бы выстроить из обломков разрушенного собственной интеллектуальной мощью мироздания, и он бросил свою мощь и всю волю на то, чтобы до конца своих дней яростно это отрицать. Преисполненный и безумной гордыней, и ненавистью к себе, презрением к другим

и тягой к саморазрушению, всезнающий и привыкший во всем на свете сомневаться, холодный и отчаянно страстный, терзающийся и отстраненный, окруженный обожанием домашних, преданностью последователей, восхищением всего цивилизованного мира и почти совершенно одинокий, он — самый трагический из всех великих писателей, отчаявшийся старик, которому никто не в состоянии помочь, поскольку он сам себе выколол глаза и бредет в Колон¹².

